

ГОГОЛИАНА

(Оконтанго. Начало см. на 3-й ст.)

похоти. И мир вокруг наполнился фантазией. И то вдруг хотелось жить, как извергает Везувий, то вдруг хотелось умереть».

Наступила небольшая пауза. «Ну, а смех как? — Тут он был, при мне. Тут он был... И начал мне свою о нем проповедь и свои призывы голос в левом ухе. Голос чортот? Голос передового слоя нашей земли? Голос собственной гордыни? Голос совести? Много я об этом после думал. А чтобы понять смысл его вкрадчивых и зовущих речей, попытаться набросать перед вами, дорогие мои, картину: «Гоголь и его пейзаж», а то можно еще и так назвать: «Филисоф Хома Брут в гостях у Вия».

«Россия наша, дружи мои, — страна печальная. Я могу с гордостью сказать, что патриот, — люблю ее. Но как часто, когда в своей согретой солнцем мраморной груди приласкает меня бывало пристальное мое сердце — Рим, я, как бывало нахлынут, словно серые тучи, полные холодными слезами дождя думы о том, что пора ехать домой... Ах, домой! Ах, домой! — И вдруг покажется так ужасно все там, дома. С такой тоской жмется пальцы. Так не хочется... словно отпуск получил в рай, а тебе напоминают, что надо тебе вернуться в приличествующее тебе место, где и чертам тошно».

«А ведь нет, дружи, ведь очень много ласкового, сильного, светлого испытано и даже в ледяном Петербурге, а тем более у Москвы за пазухой, или дома, в позлащенной югом Малороссии».

«Но, когда говорю я: Гоголь и его пейзаж, — мне не рисуются русские, в отчаянии расплывшиеся края, не напущенные равнины. Мне рисуются горы. Мне наших гор и видеть не удалось. Мне рисуется такой страшный, фантастический пейзаж, казавшийся может

быть, видел на картине сумасшедшего немца-романтика, а, может быть, только в тяжелом, лихорадочном сне».

«Вверх идет каменный, рвущий ноги зигзаг тропинки. Скалы все выше. Ущелья между ними все мрачнее. Растений все меньше. Седого тумана все больше. Глухо и пусто. Иду один. И встают над высокой круглой шапкой проклятой скалы, освещая корявые вербы, огромная красная луна. И вижу я тут, что не пусто постанное мне в путь ущелье, но населено призраками. Вот в этих амах, на склонах бездн, что это за белые, как мед, лица? Что за газза, полные страха или еще худшего — самоотречения? Что это за скрюченные тела? Что за сверхкаменная работа? Кто там кого бесправно и беззащитно попрает? Стой! Смотри по склонам словно окровавленных скал! Что за ужасные самодовольные рожи? Что за зубастые рыла? Что за жадные калыки? Что за косматые груди? Что за толстые, как тошнотворные черви, хвосты? Все полно ими, все движется ими...»

«И вот тут-то в большое левое ухо бедного русского сочинителя Николая Гоголя-Яновского начинает шептаться, пошепываться, шипеть, наговаривать, напевать неведомый голос».

«Гоголь! была у тебя первая ступень смеха, смеялся ты над тем, как бойкая жинка пьяного старого мужа бьет. Была у тебя вторая ступень. Сорвал ты шипры, за которыми таились низы царяпы твоей — отчизны, и ее парилы — бюрократии. Уж не о третьей ли ступени смеха подумал ты, когда начал было писать о «Владимире 3-й степени» богатейшую повесть, которую, может быть, уж никто не прочтет?»

«А я вслушивалось и боржочу: «Отчего же-с? Отчего? Я, может быть, и напишу».

«И вдруг из одного мрачного ущелья высовывается колоссальный, карами-

кий черный медведь, и лапой мне грозит: «Гоголь! ты смотри выше. Ты лепел до губернаторов, до архиереев... Ты смотри выше! Страшная историческая сила построила твою страну немолчимым острогом и жутким домом умалишенных. Вот ты видишь весь кривой смехотворный и пугающий алчущих духов, переполнивший грудь твоей страны. А там повыше — их командиры. Раззолоченные. Великолепные. Но на них-то и почит самый густой яд, отравляющий воздух жизни».

Взглянув в них, Гоголь. Гляди на них своими карими очами, прямо и честно, чтобы они раскрыли тебе свою сущность. Ну, Гоголь, ну, палладин наш, — надев серебряную броню на грудь свою: в руках твоих, в устах твоих — молнии и гром! Веселые молнии испепеляющего сарказма, очищающий гром гомерического хохота...»

«Гоголь, Гоголь! Вот видишь большой белый камень, и на него ведут ступени. Это — твоя кафедра. Взойди на нее и смейся. Тогда увидишь ты то, что Хома Брут увидел в тобою созданной деревенской церкви после того, как петух закричал. — Они такие страшные, сами испугаются и станут мелки и боятся врассыпную и застрапнут, зацепившись крючьиными крыльями и плеторами хвостов, выскочат от страха перед обжигающим их смехом и сам Вий подымет свои длинные веки и покажет испуганные глаза».

Гоголь оглянулся испуганными глазами. Он вдруг присел за столом, лицо его посерело, глаза потухли, он поджал над головой беспомощно руки, словно защищая эту бедную голову от удара дубиной: потом он в отчаянии заломил руки и крикнул каким-то тонким зачехлым голосом: «Та боже ж мой, не могу ж я, не могу: бацте як перелякався, дрожу, як в той тряске...»

Гоголь действительно и здесь, перед

нами, дрожал; как испуганный, пойманный зверек, оглядываясь он на нас всех: «Как же на государя-императора, на синод и синклит... Как же это — на вековой порядок? На родину? На трон? На алтарь? — Ведь вот он куда зовет голос в левом ухе. А ведь цыкают, а ведь дунут, а ведь щелкнут — и нет тебя, как того клопа, как той блохи, и пусть твои кости где-нибудь в Турханске черной ворон разыскивает».

Ты мне вренье в мое больное ухо, что меня исполненные силы испугаются, что меня с белого камня народы услышат! — Народы еще долго ничего не услышат, а исполненным силам боятся рано. Кула ты меня толкаешь? — Толкаешь ты меня на смерть, на мученичество. Без всякой пользы, а я даже, голос лукавый, и не знаю, во имя ли подлинной правды...»

Лично Гоголя как бы окаменело. В разных местах за столом заметно было движение. Поправляя плед на костлявых плечах и опираясь на стол костлявыми худыми пальцами, встал устроим Шедрин-Салтыков. Живая, длинная борода косматилась, ерошились седые суровые брови и усы, поволчьи блеснули большие глаза. Голос у него был глухой с сильной сипотой: «Николай Васильевич! — сказал он... и вдруг, как бы преодолевая внутреннюю застенчивость, теплее: «Учитель... Вы думаете, только в наше время

об этом приходилось мучительно размышлять? Да, густая была тьма, трудное было ее шевельнуть. Надежды были маленькие, плохонькие. Опасности мордастые, клыкастые. Если нынешние наши наследники скорей этой, этого страха, — как бы даром не пропасть? — в нас не уважают, значит, они нас еще не понимают».

Михаил Евграфович зябко закутал пледом и сел. «Ну, так и я не могу молчать», — раздался нервный высокий голос: «Николай Васильевич! и бесстрашия я не требую, — у кого они есть — ладно, у кого нет — что ж поделаешь? Но только, Николай Васильевич, надеюсь я, что вы и про правое ухо расскажете. Тут все-таки не один страх. Не только окружены вы были исполненными враждебными силами, а в вас самих стоял помещичий гарнизон. Даже в лучшие времена вы прибегали к тому же трону, выпрашивали всякие подачки, чувствовали себя как-то своим в этой среде. Бы на меня не сердитесь, а ведь у нас не суд. Вы меня не заставьте поверить, что, когда вы пошли по мрачному нашему правому пути, привелишему вас к таким мукам, к такому истощению, к такой смерти, — вы выбрали более легкий путь».

«Скажите, в самом деле, — продолжал Белинский, обращаясь уже ко всему столу, — мы все теперь знаем, как страшен был путь нашего великого друга Николая Гавриловича, а скажите, по правде, разве путь Гоголя, пожалуй, не страшнее? А какой из них слаще?»

Белинский, говоривший все это взволнованно, но властно, сел. Гоголь, слушавший его, опустив голову, подняя ее и хотел что-то сказать. Но тут, может быть, не совсем уместно, вмешалась Самарнова. Она вдруг подняла свои милостивые брови и рассмеялась:

«Это я по поводу того, что г-н Белинский назвал подачками. Однажды, не без моего участия, государь из собственной кассы пожаловал Николаю Васильевичу Гоголю большую сумму, — такие он литераторам редко давал, — три тысячи серебром. Потом я как-то благодарю его величество. А его величество так ласково улыбнулся всеми своими прекрасными такими, знаете, собачьими такими зубами и говорит: «Гоголь, хорошо пишешь. Тривальности только допустил в «Ревизоре». Но у него ведь не один «Ревизор». Это ведь Гоголь написал «Тарантас»? — У меня духу нехватало сказать ни «да», ни «нет». Так зал гонимых своих гениальнейших дворянских писателей».

Многие засмеялись, засмеялся и Гоголь.

«Я все по порядку расскажу, — сказал он».

«Я уже и начал об этом. Я уже и наметил мысль. Во мне уверенности не было, праведную ли я работу буду вести, обливая родину смехом... Все равно — венчают ли меня за это, или покарают».

Гоголь подумал с минуту и продолжал:

«Это я только на время просил забыть, что я — дворянин». Гоголь засмеялся: «Помещик, та же и який. Помните, как в «Переписке с друзьями» учил Христа призывать, чтобы побольше из мужика работы выжать? А я как мы с маленьким хвостиком в имени заведи? Захотелось мне тоже покостанко-гнить. Вот уж подлинно — и смех, и грех. А помещиком быть, хоть маленьким, было приятно. Белая кость, сиялая кровь, парю родня, богу свойственники. Ведь как рисовался весь порядок, еже-

ли на него глядеть с помещичьей точки зрения? Уже тут на земле на вершинах дворянского мира беспорочными снегами лежат горюстаи порфиры, звездами сияют алмазны короны, на мечи опершись, по правую руку царя, великие лыцари блондуют гордое царство, а по левую руку позлащенные митрополиты, заживо святые угодники, чистые жены, Христу себя посветившие. Фигуры под смелостью, хоры умилятельнейшие сердце твою зовут горе... И уж если заглянешь в эти старые книги, то там на всякие твои сомнения найдешь ответ. Начертаны там отменные, немерпающие слова: «Воля божья» — «Разуму человеческому не понять» — «Смирись, гордый человек». А над этими надписями уже мир иной. Там уже подлинное царство Христово. Там слава, которая всякую меру превышает. Там и любовь Иисуса Распятого, создающая безмерную благодать, ею же все оправдывается».

Гоголь говорил все это торжественно, но как-то бездушно. Лицо его при этом было, — как часто бывало, — неподвижно, словно деревянно. Но тут он вдруг тонко улыбнулся: «А разве не так, Федор Михайлович? Простите, что я прямо к вам обращаюсь. Что бы там про пропасть между нами ни говорили, а судьбы наши и болезни наши — родные русские сестрички».

Все головы обернулись в сторону Достоевского. Он остался недвижим. Он сидел у стола, положив сверху скачутки кулак на кулак, а на верхний кулак — свой бородастый подбородок и, не сводя глаз, исподлобья глядел на Гоголя; на лбу его страшным зигзагом поднималась глубокая, раздирающая морщина.

«Нет, — протянул Гоголь: — правый голос не молчал, гневно и патетично шумел он в другое большое ухо: «Гоголь, не слушай чорта! Разве не догадался, кто это тебе свидет и вередит в левое ухо? Да это ж — песья голова! Это ж стрекулист, у которого хвост под фалдами фрака. Он же сам себя ревизором миру поставил. Самка Хлестаков это. Или форсу себе придал! Ты ведь его знаешь, а тоже верить. Святую Русь хочет купно со своими писателями,

стрекулистами, обгадить. Гради, говорит, гради, великий Тряпичкин, разоблачи, говорит, мать... Гоголь, на то ли тебе господь бот талант дал? Талант дал тебе господь бог великий, какой, может быть, никому не давал, да и не даст. Думал ангел твой хранитель, что, когда созреешь, — потуешь святость таланта, — развернешь крылья своей совести. Очистишь, омоешь душу. О признании своем сочинительском думать будешь не как о зубоскальстве, а как о высоком назначении и даже до пределов угодничества. Угодником быть. Угодником-угодник. Угодник богу. А вне этого только палцы. Глянь на Россию и благослови ее. Великим благословением благослови. Покажи, как, вопреки всему, сияет в ней правда».

Гоголь опять тонко улыбнулся: «Скучно это. Скучно угодником быть. А я от страха, от сомнения, от малосилия, от болезни, от отравленности моей общественной, умоляя слабых или ложных моих друзей о помощи, хватался за черствую расу узкого протопопа, потаил себя по этой дороге. Сколько работал! В какой ужас приходил, проекая работу! Сколько жег! Пока страстным и жалостным образом не сжег и себя, обрвав между собою, жизнью, миром все пяти!»

Глубокая задумчивость парила за столом. В глубокой задумчивости стоял Гоголь, и его завитой чуб упал вниз, закрыв от нас его лицо. Показалось, что ладные плечи его синего палатюртука задрожали от сдержанного рыдания. Но вот уже он откинул волосы и открыл улыбающееся лицо.

«Простите меня, дорогие, милые, за мои неудачные макаронические разгворы... А пока суд да дело, макароны готовы и думая, правильные, итальянские. Тарелки сюда! Тарелки сюда! Вина в стакан! Вина в стакан! Я раскладываю, слуги разносят. Кушайте на здоровье, гостечки наши коханые!»

Ответственный редактор Н. И. БУХАРИН
Издатели: ЦИК Союза ССР и Всесоюз. ЦИК Советов Раб., Крест. и Красноарм. депутатов.

БРОМ ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ
... в Канаде путем обработки водосодержащим бромом. Выделяющийся бром током водосодержащего раствора солей. Из 9.300 литров воды получается 0.45 кг брома. Установка обрабатывает 117 т воды в минуту и за месяц добывает 32 т брома. (Chem. a. met. eng., № 2).
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА длиной всего 8 м построена в Японии «для специальных целей». Команда — 4 чел. Лодка приводится в движение электричеством. (RTA — Nachrichten, № 8).

Рис. худ. Н. И. Кравченко.

